

Клим НЕМОВ

МОСКВА И ОБЛАСТЬ

* * *

Не вино, а сжиженный закатный луч, подлинная кабардино-булькарка. Не закуска, а рыбина, сухая и соленая, строгая, как старуха Изергиль. И не пошли потом мимо помоек, а полетели, крылаты, как ракеты. Дальше и вовсе неопишимо – стояли, сложившись шалашиком, смотрелись, сопрягались, склонялись на все лады, самодовольному мажору, впрочем, предпочитая сомнительную состоятельность минора:

C-moll

Россию – в кавычки.

Мы.

Живем.

В «России».

F#-moll

Дурные привычки:

От курения до депрессии

Тройной прыжок, на карачках

Через осенние месяцы.

A-moll

Левым коленом застыть в листопаде,
как в масляном янтаре,

Правую стопу царапать коростой
октябрьских луж во дворе,

И остывающим ртом выпуская
последний седеющий пар в ноябре.

C-moll

Затем до колен отрастают реснички:

Зима наступает. «Россия» – в кавычках.

* * *

Вот так, вся раскрасневшаяся из ложной скромности, подступает тихая осень.

На парковке тесно, дверь открылась на щелку, из которой выбирался бочком и на подошву зацепил шелковый обрывок бабочкиного крыла.

Потом еще увидел, как не по-летнему блекло небо, хотя сентябрьской прозрачности еще не достаёт.

Впрочем, это вопрос времени, скоро все засыреет так, что Ваша жаба будет довольна.

Шелестя галстуком, появляется латифундист и оглашает протокол о намерениях: буду резать, бить буду, проведу монетаризацию льгот – а разводиться все придется твоему бастарду.

Тоже щенок, вырядился в черное, тренируется с деревянным мечом, но на север не торопится, бесконечные отговорки придумывает.

То понос какой-то с неба, то золотуха сыпью покрыла листву, то жаба сохнет, а то бабочка, видите ли, сбрасывает крылья.

Да и пускай себе ссылается на очередной Юрьев день, протокол о намерениях зачитан вслух, так что никуда не денется.

Скоро север сам придет к нему.

Таков закон, он даже был опубликован.

Это совершенно, и потому это секретно.

* * *

Кривясь и кривляясь, глотал мыльную кислотину, губами нежно обнимал соленые кольца ученых кальмаров, каленые перстни упругих кальмаров, к каждому встречному приценивался, пристально прогонял чрез кровавую баню мозга и по колено погрузился в ночь, молодую и агрессивную, в лужицы, что собираются в складках плотной желтой клеенки кленовых листьев и ртутно блестят в свете фар – осеннее обострение, и машины «Скорой помощи» стоят едва ль не у каждого подъезда – кривляясь, кривясь, прямым из бронхиальных ветвей, крикнул и отхаркнул мокротного Колобока на рваную мокрую клеенку кленовых палых листьев и, рукой опираясь на пачкающийся коричневыми чешуйками ствол, трагичностью композиции напоминал желтую пчелу, бюстик Ильича, распростертый белым агнцем на крови сукна, задыхался, да засмотрелся на Колобока, покуда тот бодрячком катился к ближайшему подъезду, оставляя слизистый в свете фар «Скорой помощи» след, чтобы забраться и забиться в горло еще одному, кто обречен в это осеннее обострение.

* * *

Худой Бердыев не помнит, как и зачем он оказался здесь. Будто на пугале, болтается на нем широкий ярко-красный балахон с сияющими на нем полосами, буквами и символами. Их значение ему неизвестно, да и равнодушно вполне. Зато ночью, сказочно холодной, когда худой Бердыев плетется по обочине, со всех сторон осаждаемый свирепым – белым, желтым, малиновым – светом автомобилей и ревом, они, знаки и полосы, пламенеют жаркими лампами, и это нравится ему.

Худой Бердыев человек черненький, маленький: за ним закреплена краткая часть переулка – от перекрестка с «Крошкой-Картошкой» до уставленной пустыми коробами задней стены ларьков, – и он трет, трет асфальт жесткой щеткой.

Вот обитающие здесь: алкоголик Витя, который выпрашивает деньги у распивающих пиво и подбирает за ними бутылки, а рано поутру и вечером за пятак помогает лотошникам грузить товар в тощие «Газели» с ободранными боками. Андрей, постоянно раздраженный охранник подземного перехода в распухшей черной куртке, и безымянная бабка с вонючими пакетами. Есть и другие, но с ними худой Бердыев не знаком. И все они сумасшедшие – разумеется.

Худой Бердыев живет за границей города, в одном из метастазов, выпяченных им в пространство, в панельном доме с грубо – черным по белесому – просмоленными щелями, в однокомнатной на пятерых квартире. Один из соседей, армянин, торгует контрабандными фотопленками, в том числе и удивительной инфракрасной, которую родственник выносит ему с секретного склада ФСБ: говорит, если снимешь на нее «бабу», то на картинке она будет видна голая.

Худой Бердыев работает без выходных, в числе целой армии таких же худых, он ублажает жестокий город, беспрерывно поглаживая его чувствительные эрогенные места, уговаривая потерпеть еще немного, еще один – один – день.

* * *

Воскресным вечером аксиоматика этих месяцев была выведена окончательно:

А) К октябрю воздушный слой становится толще и жиже, а рожденные зимой младенцы покрываются зубами.

В) Тополя нахраписты, но в их истонченных осенью прожилках течет голубая кровь – это одна из немногих причин не ехать никуда.

С) В последний раз оглянулся на знакомый двор с леопардо-

вой расцветки каштаном, прошел мимо ржавых качелей.

Д) Арка, белесый просвет, граффити, пронзительный свист дымчатых глаз.

Е) Сон не запомнился, но из носу пошла кровь: отрицательное давление.

Так что пусть лучше я вот сейчас выплесну все накопившиеся в печенках листья, чем потом появится Человек-Молния и сожжет наши сердца. Итак, на днях.

В безымянном дворике на Пироговке громоздился тучный, масляный вечер. В углу, где сгустился фиолет особенно непроницаемый, покачивался Кипятков. Кипятков пИсал; как-то неумело, с некоторым как будто недоумением оглядывая чресла свои. В двух шагах от него я, присев на желтый капот разлагающегося «Москвича», молча дырявил иглой банку из-под пива. Мизинцем к ладони я прижимал сияющий комочек фольги. Кипятков посмотрел на свои электрические часы:

– Ну и?.. – произнес он влево.

Слева от него, опершись одной ногой на спинку пурпурной лавочки, стоял Человек-Человек, нордического типа тип.

– Ну, и, – продолжил Человек-Человек. – Можно сказать, что человек – подвижная система, набор химических и электрических компонентов. И всякий раз, вдыхая, съедая, трогая, наблюдая, мы движем, меняем ее. В некоторых пределах. С помощью специальных техник, или же веществ, мы можем подводить систему вплотную к той точке, где она оказывается в состоянии неустойчивого равновесия, близкого к полному не-существованию. По крайней мере, в качестве человеческого тела. Эти моменты неустойчивости несут высокую энергию, с вершины которой мы можем не только обозреть свое «обычное» состояние, но и заглянуть в Пропасть Иного.

– Это, конечно, прикольно... – протянул Кипятков, отряхиваясь. – Зато потом от вашего кетамина становишься, как Человек-Лед.

Человек-Человек пожал плечами:

– Причем тут кетамин?

Я выронил фольгового колобка и, подсвечивая зажигалкой, разыскивал его во влажном песке. Двое в синих комбинезонах внесли табуреты, на которых нарисовался Человек-Сатана. Погонны его униформы тускло поблескивали мириадами мелких лейтенантских звездочек. Быстро оглядев всю троицу, он озадаченно покрутил пальцем у виска, решив, что мы совершенно безнадежны.

При красоте такой не пьет, не матерится и предлагает любить такой, какая есть, либо убираться ко всем чертям, притом единственным своим серьезным недостатком считает взбалмошность характера. Впрочем, басня запутанней: все живое всеми своими лапками стремится окружить себя красотой, и потому льнет к ней само по себе; из закона тяготения к прекрасному вечно липнут чужие кошки, даже бессловесные не улыбочивые лялиусы просыпаются и начинают бодренько шевелить плавниками. То, ради чего мне, тебе, ему, им приходится стараться, само, замороженное, идет к ней в руки, она же привычно отпихивает ногой кошку, деланно дует губы, отворачивается от стеклянной стенки аквариума, и лялиусы с тоски и от обиды выбрасываются на ковролин. И была бы царь-девица, но как курица слепа, а это уже системный сбой, так что и красота лишена всякого смысла.

И вот, выйдя из конторы ровно в восемь, рассорившись с Е. и хлопнув дверь перед О., для успокоения запив три таблетки «Новопассита» негазированной Aqua Minerale, опаздывая почти на полтора оборота минутной стрелки, она с неудовольствием обнаруживает Л., терпеливо ждущего на углу толстой кишки проспекта. Снисходительно просит прощения, знала бы, что выстоит столько времени – не появилась бы, но теперь деваться некуда, взбрыкивает ажурными каблуками Prada, хватает Л. под руку, больно стискивая «нервную точку» возле локтя, бордовую с коричневыми замшевыми вставками сумочку Sonya Rykiel покрепче сжимает в тонкой ладони, и удаляются уже вдвоем.

В ресторане свет такой яркий, что первое время оба с трудом моргают, привыкая. Она постепенно отогревается и все сильнее чувствует глухое раздражение – на себя (что пошла на встречу), на Л. (за ненужность связи), на ресторан, на жизнь, на весь мир и эту ночь. Раз уж вечер не задался с самого начала, ей остается только подтолкнуть его в пропасть, и с этим настроением она входит в настоящий раж. В каждом жесте мужчины ей чудится лисья хитрость: изо всех сил напрягаясь, она старается удержать в зубах собственную вожденную неприступность, не понимая, что это – последнее, что от нее может быть нужно, и вот, четвертый подряд В-52 заставляет ее материться во все воронье горло. Не получив в ответ ни слова, забирает со стола мобильник Sagem, хватая сумочку и дефилирует в сторону гардероба. Откинувшись на стуле, Л. нервно закуривает, невольно прислушиваясь к цоканью ее туфель, краем глаза он видит трепетание мягкого, цвета ржавчины костюма (юбка и пиджак) от Laura Biagiotti, ви-

дит покачивающуюся ее походку, и думает: «Хоть бы ты наебнулась, жертва моды».

* * *

Кран не повернут, в четверть силы, а на скатерти разноцветные крошки.

Одни кой-какие соображения, и никакого воображения; хотя это все объясняет.

Рама перекошена, в щели сквозит; плиту на все конфорки, тепло пойдет.

Господи, кто там есть наверное, сделай так, чтоб им тоже житья не стало.

На вилке засохла пара пустяков, в ладони согревается прелой мелочи горстка.

Теперь по ложечке уксуса, чтоб умерли все-все-все микробы в животике.

В банке пусто, наклонясь сквозь стекляшку искаженным взглядом – да что такое?

Просто дела из рук вон.

Из рук вон.

ОСЕНЬ: ЗЕМЛЯ

Протестовавшие поначалу местные жители после нескольких приграничных стычек с нанятым заранее капитаном милиции и его сорока разбойниками рассеяны, устаревший, уже второе столетие догнивавший в тихом центре особняк купцов Шароваровых – снесен, и возведение нового офисного центра класса «А» (стиль «вампир», 8 этажей, трехуровневая подземная стоянка, внутренний дворик с зимним садиком и амурчиками) в самом разгаре. Строительство ведет СМУ-23 и в лице ответственного Тяглова Г.Л. надменно делает вид, будто просит пощады за причиняемые неудобства: за развороченный асфальт, за израненный колдобинами тротуар, отекающие глиной ямы с переброшенными осклизлыми дощечками, за барханы просыпавшегося и промокшего темного цемента, за грохот, лязг, за крики, за перегородившие весь переулок бетономешалки.

На стройке Петя пятый день, а все уже осточертело: по ненадежным деревянным лесам на четвертый этаж, по петляющим лестницам с бумажным мешком песка на заливке, сколько раз? Ровно столько, сколько требуется, чтобы в октябрьские сумерки, придя домой, съесть полпачки пельменей и поленом повалиться на продавленный диван, прислушиваясь к гудению мускулов, а утром пораньше опять в подземку, и опять тот же октябрь и те же мешки с

тем же песком. Ледяная осень сырыми комьями валится со страдальчески сморщенного неба, ботинки черпают грязь полными горстями, потому Петя обут в резиновые сапоги, которыми приятно давить зазевавшихся крыс, резиновые сапоги, как и все тут молдаване, украинцы, казахи, туркмены, осетины и прочие мелкие служители камня – настоящая мечта соцреалиста – без паспортов, без различий, без всякой мысли изможденно снующие по территории.

Заправляют всеми темнолицые турки, болтливые, сумбурные, суетливые, смешливые, жадные и безжалостные: в рабочее время и присест не дадут на минутку. Скинувшая кандалы камня, обнаженная земля тут же выбросила пучки странных разномастных грибов, которыми не уставали травиться молдаване, несмотря на все предупреждения о том, что здесь все грибы ложные. И здесь одна на всех межнациональная радость – туркмен Бяшим, старший штукатурщик с неоскудевающим мешочком тамошней злой травы. По-турецки устроившись на свежем полу цокольного этажа, маркером он ведет на мясистом предплечье списки должников, черной латиницей: Petr. Здесь же народы дружно раскуриваются, торопливо, с оглядкой, судорожно затягивая в рот тугие, землистого цвета ленты дыма вместе с запахом непростывшего цемента. Кто-то повел рассказ про престарелого дядю из Щербинки – узнав, что СССР более не существует, тяжких предвидений полон, дядя вырыл себе землянку восьми метров глубины, и с тех пор там себе полеживает, выбираясь только изредка проветриться. С тех пор и до сих беды не знает: даже температура в землянке постоянная.

Выкурил Петя столько, сколько прежде и не видел, с трудом переставляя ноги поднялся на поверхность и пару раз безуспешно попытался поднять мешок с песком, но быстро на это дело плюнул. Спрятавшись от турецкого ига в укромном закутке между носатым краном и бетономешалкой, каменя под их недружное бормотание, Петя устроился возле грибного кустика и спрятал мерзнущие грязные руки в рукава, не мигая, смотрел, как трепещет живая масса раствора, из широкого раструба разворачиваясь, заползая в укрытие деревянного, утыканного железными штырями кубического короба фундамента, принимая форму, в которую налита, очередным пирсингом уродуя округлое сырое тело засыпающей земли, глубокой и терпеливой.

* * *

Я – это я, или не я?

Отсюда, или придет мама, растолкает, скатает одеялко:

– Уходи, не наш ты сын, чужой мальчик.

Никого-де не слушаешь,

И нет у тебя на левом плече родинки!
У нашего мальчика поступь гордая,
В плечах косая сажень, или несколько,
Да зубки шиты частым крестиком.
Уходи-ка, подменьши нечаянный,
Нету на твоём плече заветной родинки!

...Это все не беда, перетерпится.
Да и что мне до тебя, женщина:
Как проснусь, то забуду родителей
Помимо Отца небесного.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Это что такое? – выпрямился милиционер.
- Лекарство, – ответил я. – бабушкино.
- А почему в носке носишь? – съехидничал сержант.
- Мне так удобней, – пожал я плечами.
- Ну ты и наглец, – лейтенант подмигнул присутствующим. – Так и запишем, бабушкино.
- Послушайте... – я попытался отвести его в сторонку.
- Двадцать таблеток розового цвета с изображением, – милиционер принял деловой вид. – Что там нарисовано?
- Лошадь. – Расстроено выдавил я.
- С изображением лошади. – подтвердили понятияе.
- Хорошо-хорошо, – поднял я руки. – Сколько?
- Ну, – задумался милиционер, – четверо косых, не меньше.
- Я требую адвоката, – возмутился я.
- Вы сядете до трех лет, – подтвердил адвокат.
- Толку от тебя, как молока! – рассердился я.
- Спокойно, мальчик мой, – хохотнул помощник. – На суде мы тебя отмажем.
- Но мне не нужен никакой суд, – схватился я за голову.
- Но у вас нет никакой бабушки, – угрожающе надвинулся обвинитель.
- Как раз собирался взять шефство над одной. – обещал я. – Ветеранка труда, между прочим.
- Не пытайтесь нас обмануть, молодой человек, – прогрохотал судья.
- Помилуйте, только для себя, не на продажу же! – взмолился я.
- Ноги на ширину плеч, – потребовал конвоир.
- Эм-м... Здравствуйте, – осторожно произнес я.
- Лошарам одеяло по закону не положено, – сплюнул один.
- Курить здесь можно? – спросил я.

– Ненавижу наркоманов, – отрезал кто-то. – водку надо бухать, а не этой дурью закидываться... Убил бы всех.
– Эй, начальник! – закричал я. – Эй! Помогите же! Кто-нибудь!
– Дивен Бог во святых своих, – подытожил священник.

* * *

Черный мост и яркие огни на нем: веришь ли, моя нежная, но мы с братом умеем превращаться в менеджеров.

И способны останавливать время – ненадолго, минут на семь, – особенно в такую ночь, ледяную и ломкую.

Квадратная, сдавленная тучами луна грохочет над рекой: – Никогда! – и вправду гаркнул ворон, отрываясь от набережной.

Нежность и неизбежность рифмуются, а уж такое не случается напрасно, неизбежная моя, веришь ли, потому мы не будем вместе.

Оттого страшно раскачивается мост, и заклепки, щелкая, вылетают из пазух.

Да, мы добрались – пальцы вытянуть – до главного нерва. – Никогда! Никогда!

Но оттого-то мне и страшно.

* * *

Раз уж мы тут так собрались, расскажу еще кое-что для чувствительной кожи. История эта известна повсеместно от Митино до Марьино, и даже в просвещеннейших домах Черемушек она передается из уст в уста, от отца к сыну, как поэзия древних скальдов. Вот она, эта история.

Был у меня пес некоторой московской породы. Говоря более определенно, бульвар-терьер, сердечный друг, и каждое влажное утро гуляли мы под ручку в районе Петровских ворот, заглядывали в черные, непрозрачные нефтяные зрачки кавказцев и рассуждали, разумеется, о России, болезной нашей гиперродине, любезном свехотечестве нашем. Высказывались мнения самые неожиданные: и о том, что русский народ – рогоносец, ему родина изменяет. И о том, что можно ехать вдоль России, а поперек можно только спускаться или подниматься – совсем не так, как у обычных людей. И много еще иных парадоксов упоминалось, и так мило было нам с бульвар-терьером бродить под ручку в ранний час, когда каждый звук прозрачен, плотен и отделен, будто бусина, и ощущать себя жителями мистической столицы мистической страны, что обнял я бульвар-терьера своего, подхватил под мышки и радостно подбросил в воздух. Пес благодарно лизнул меня в щеку, а затем заговорил человеческим голосом, по-русски: «Хорошо мне с тобой, друг сердечнейший мой, но – пойми – мы все врём. И нет никакой Мо-

сквы, и России нет, а есть одни только Сибирь и свобода». Сказал – и уехал в Томск, город, в котором, как всем известно, все граждане сивые пьяницы либо наркоманы, либо черные шаманы.

Свободу нельзя отнять или ограничить, таково ее имплицитное свойство; ее нельзя лишиться, но ее можно лишиться. Свобода зазеркальна: чтоб оставаться на месте, надо быстро бегать; так что я его понимаю, этого пса.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Повторения повторения рассыпаются там и сям, будто игла по пластинке скачет. И – никто друг друга сразу не узнает, путаются: Привет, Матвей! – Привет, Сергей! – Я Антон, а не Сергей. – А я Андрей Андрей. – все похожи друг на друга, все кажутся знакомыми. Постоянно кровь кровь из носу, и нигде ни единого прилагательного. Внезапные приступы сонливости ниотчего – окружающие валятся с ног, сползают с кресел на пол. Горячую воду отключают то включают, вся уже постель в бурых пятнах. Сцена вторая. – Ты дура ебанутая. – Да-да, а потом она пришла в такой кофточке бежевой. – Не слышит... Если бы я мог выбирать, то, конечно, глаза. Глаза твои, драгоценную сотню карат, я поместил бы в драгоценную оправу и носил на тонкой цепочке. С потолка льется кровь, но это нестрашно страшно, я сегодня сегодня – быстрый наезд камеры – в кедах. Дверь, – думаю я. – Дверь. Мобильный телефон, – думаю. Окно. Ноги. Дождь. Но никакого, ни на йоту, разочарования нет, потому что никогда не было и никаких ровным счетом ожиданий. Утаренье на люпой слок.

ВЕСНА: ВОДА

Загогулина закоулка на задворках генеральского района оканчивается хитрым аппендиксом грязного дворика, в центре которого разноцветными сифилитичными пятнами проступает опадающая, темнеющая гора слежавшегося за зиму снега. Жители двора и разноцветные гости столицы высыпают мусор где попало, но снег припомнит все, всякую мелочь старательно сохранив до распутицы, чтобы пред черными распутными зрачками весны предъявить вещественные доказательства того, что и зимой между этих уныло теплящихся окон, под этим бессердечным небом теплилась стремительно остывающая жизнь. В мутной талой водиче взвесить морщинистые пакеты, догнивающие трупы трехцветных кошек, картавые обрезки картофеля, лохмотья сигаретных пачек, останки давно вымерших бананов, твердые кости бутылок и неисчислимое, тропически обильное разнообразие собачьего говна.

В углу неровного двора в бледно-желтую плоть приземистого дома грубо врезана ржавая стальная дверь с табличкой и с логотипом на ней – горельефное изображение икосаэдра, плотно, всеми двадцатью гранями усаженное в блестящую металлическую поверхность смотрится тем последним гвоздем порядка, на котором еще только и держится весь двор, медленно тая, сползая в весеннюю сумятицу и водянистое сумасшествие. Небольшую, полную расползающихся в стороны окурков площадку перед дверью по-пьяному развезло, снеговая жижа разлилась широко и глубоко. Проверив по карманам, на месте ли удостоверение курьера и проездной, медленно передвигаясь то по колено, то по горло в этой грязи, Сева выгреб в закоулок, подгребая руками и локтями прижимая к мокрой кожаной куртке пакеты с отпечатанными на них икосаэдрами болезненного синюшного цвета.

Путь до метро тянулся через арку, через закоулок, под обложным ангинным небом, под серыми однообразными облаками, через открытый вещевого рынок, и Сева пошел к нему, пересекая уличный лунный ландшафт, затоптанный бесчисленными космическими туристами: каких только отпечатков не осталось в этой тающей мякоти. Рынок полнился толкотней и молчаливой давкой, пересекался потяжелевшими от нездоровой влаги взглядами слезящихся глаз. Оплывающие, изможденные лица продавцов нависли над замызганными прилавками, в слабые уши впивался стоглавый громкоговоритель, пытку антитеррористическими объявлениями чередуя с сумрачной музыкой. Старательно сберегая пакеты, Сева вяло продвигался мимо лотков, перемешивая весеннюю подножную мякоть, и от неожиданности притормозил, когда весь сырой воздух рынка растекся хриплым бормотанием Леонарда Коэна.

Лужи досадливо поморщились – *But I was waiting for the miracle, for the miracle to come,* – повторил Сева, и сердце вздохнуло и затихло, когда под эти звуки через загаженный обрезками, запруженный людьми, засиженный нечистью обувной ряд зашуршали двое невесть откуда взявшихся монаха. Темные от влаги ботинки на белых металлических стеллажах морщили носы, сморщенные покупатели застыли, поворачивая оседающие талой испариной лица вослед их черным фигурам и прислушивались к сердцебиению песни, а монахи шли, и только снеговые лужи под ногами хватили своими ледяными губами полы их длинных одеяний.

* * *

Болезнь дня – синдром Корсакова; правда, был, помню, один человек, да и тот в отпуске.

Никакой ловкости рук, чистое мошенничество: как Господь

наш, четырьмя кубами накачал все людское собрание и сел ждать в центре зала.

Тогда со всех краев приходили к нему плотники с каменщиками, приносили извинения за причиненные неудобства, но также и за те, кои остались не причиненными.

Руки им не протягивал, брезгливо кедом подвигал этот отстой, кривился на советника: «Ну-с, и где твое обещанное жало?». Советник подал знак, пошли болевые слоны, трубы возопили.

Отсветы поезда помчались по бикфордову шнуру рельс в самую гущу толпы. Милиция краснолицая, а больше никого кругом знакомой расы. Был, правда, один, да и тот в отпуске.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Глаза б мои не видали этих коленок.

Вот уже и на шаг позади: молодежь все наглей, проворней, зла на них никакого не хватает.

Такая уж игра эти шахматы: не родись фигурой, а родись с фигурой.

А если ни того, ни другого Бог не дал, то и приходится в пешках выслуживаться; шаг вперед.

Ничего, еще есть надежда, миттельшпиль, хотя из дебюта вышла с потерями.

Зато угрожаю здоровенному коню – мало ли чей бывший, зато – настоящий огонь.

Кроме этой надежды больше ничего и не остается – они еще не знают, – уже и задница обвисает.

Ведь были и не такие коленки, и плечи глаже; шаг назад.

Есть надежда, что кульминация партии еще впереди: дежурный по станции объявляет шах.

Поезд следует до эндшпиля; а там посмотрим, сучки, кто кого.

* * *

Засандалил ей ребенка и уехал на Гоа, и сигналов более не подавал.

На предплечье вытатуировал «604», хоть это к делу не относится.

Она – родители в Америке – четыре из пяти комнат сдала, сама сидела с малюткой дома.

По дороге в молочную кухню лабрадор-ретривер хватанул ее за бок.

У него шерсть медовой окраски, у него бездонный взгляд.

Чуть не месяц кололась, подвывала от боли, питание приносить просила постояльцев.

Постепенно отпустило, да и вернулся этот, с татуировкой, прощения удостоен не был.

Как-то ночью прокралась во двор и оставила на газоне сверток. В газете – куски мяса вперемежку с битым стеклом.

Целую ночь выглядывала в форточку, а во дворе собаки металась и стонали.

Но ведь скоро все равно завела себе суку плотного сложения, обучила охране и нападению.

Ребенок тем временем подрастал, деревенел, менял запахи.

Иногда звонил этот, на предплечье татуировка «604» миленько болтали, стал появляться в доме.

Приносил, конечно, сюрпризы, эзотерику с экзотикой.

Хотя лучше бы деньгами отдавал, ну да она не в обиде.

Суку приходилось привязывать: на него бросалась особенно яростно.

К осени сговорились съехаться, постояльцев прогнали, сделали мелкий ремонт.

Суку предлагал по-тихому усыпить, житья от нее не стало, но не решились.

Однажды – кажется, случайно, – забыла запереть ее в комнате.

И сомнамбулически смотрела, как она терзает этого, с «604» на предплечье.

* * *

Перед отъездом накурился так, что ничего не соображал, впрочем, и она тоже.

Наутро в самолет – и покедова, улетел в иные, благословенные края.

Жил жизнью, зарабатывал мало, тратил ровно столько же.

На предплечье вытатуировал «604», хоть это к делу и не относится.

Через полтора года встретил знакомого, оказалось, она залетела после того раза.

С трудом скопил на билет, домой разлетелся с пахучим букетиком.

В недоразумение не поверила, не пустила на порог и даже малютку увидеть не позволила.

Выпивал, пытался представить себя отцом, ощущал странное.

Иногда тайком подглядывал за обеими девочками, гадал, какая она – маленькая.

Завел пса, лабрадор-ретривер, красавец с породистым носом.

У него шерсть медовой окраски, у него бездонный взгляд.

Как-то утром к молочной кухне шел в отдалении за ней, и пес

играючи хватанул ее за бок.

Сам сбежал от горя и стыда, а она, кажется, сильно напугалась.

Но не оставлял свои звонки, пока наконец не почувствовал, что – подалась.

Завела себе суку плотного сложения, звериной масти.

Стал заглядывать в гости, приносил обеим девочкам подарки, эзотерику с экзотикой.

Суку приходилось держать взаперти – на него она бросалась с особенной яростью.

К осени сговорились съехаться, постояльцев прогнали, сделали мелкий ремонт.

Суку предлагал по-тихому усыпить, житья от нее не стало, но не решились.

Однажды – кажется, случайно, – она суку забыла привязать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Варфалай, – сказал он. – Меня зовут Варфалай.

Не знаю никакого Варфалая.

– Все про тебя знаю, – сказал он.

Бросил трубку, дрожу.

– Я сделаю с тобой, что захочу, – сказал он.

Такое подряд несколько раз.

– Ты мой раб, – сказал он. – Я выиграл тебя в казино.

И так до утра.

– Ты будешь делать, что тебе прикажут, – сказал он.

Выключил телефон, тогда он стал говорить прямо в голову.

– Что прикажут – все сделаешь, – сказал он.

Секретные психотронные технологии.

– Иди купи шпроты, – велел он. – И молоко купи.

Не хочу я шпрот, ненавижу шпроты, жирные.

– Ты должен купить жирных шпрот и молока, и поехать в Измайловский парк.

На работу не пошел, не могу, каждый раз белею весь.

– Ты должен поехать в Измайловский парк, ты не серди нас лучше.

Взял шпроты, молоко, отправился в Измайловский парк.

– Меня зовут Варфалай, – сказал он.

Заставили съесть шпроты и запить их молоком.

– Спрячься теперь.

Спрятался, полдня блевал, температура.

– Ты должен слушаться, слушаться.

Припелся домой, всю дорогу угрожали в уши.

– Задуши что-нибудь, – велели они.

Я сразу понял, только не понял, зачем.

– Вырви ей струны.

Порвал струны, накинул на гитарный гриф, стянул, ладони в кровь изрезал.

– Ты должен поехать в Измайловский парк.

Смотал струны, поехал.

– Смотри, вон та, в красных кедах.

Подхожу к ней – действительно, в красных кедах.

– Его зовут Варфалай, – оправдываюсь.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Перед ней, чуть сбоку, искривлялось дерево, а за ним подрагивали окна. Летняя вечерняя духота влажной пленкой облепляла облегающее платье, которое ей не шло и в котором она сама себе казалась тугой сосиской, тускло белеющей в полумраке. Хотелось обтереть лицо, но пошевелиться не было сил. Человек пять подростков, поплеывая и матерясь, устроились поблизости. Наливаясь бутылочным пивом, они говорили все громче и все агрессивней двигались. Лучше всего было бы взять и уйти, но вялость стянула все тело. Мужчина в майке, в трико со штрипками и сетчатой шляпе курил у подъезда. Она представляла себе, что нет ничего этого, совсем ничего. Пыталась закрыть глаза, но веки не слушались. Глядя на угловатые пыльные листья клена, она воображала себя за занавеской, за столом. Отодвигая штору рукой, она видит совсем другое место. Там течет вода и нет никакого пива. Заплакать не удавалось. На небе ни облачка, но желтая жирная луна. Подростки повставали с мест и пошли прочь, швырнув в нее бутылкой. Плеснули осколки. Мужчина в майке безучастно смотрел на ее облупившуюся фигуру с давно отломанным горном и торчащей вместо него арматурой.

* * *

У мальчика трисомия по 21-й хромосоме и все, что с этим связано: плоское лицо, больной румянец, пятна Брушфильда на радужках косящих глаз, толстые губы, круглая голова с уплощенным затылком и узким скошенным лбом. Ушные раковины с приросшей мочкой, акромикрия.

Бабушка водит его к Белорусскому вокзалу и просит милостыни. Реже они садятся в электричку, просеивают дачников и «областных». Бабушка не понимает, что происходит у него в голове, и не собирается понимать – ей надо выжить. У мальчика трисомия по 21-й хромосоме – мышечная гипотония, «лягуша-

чий» животик, «куриная» грудь и разболтанные суставы. Однажды он толкает бабушку под колеса электрички.

Мальчик не идет – вихляется – по пригородам. Прибивается то здесь, то там. У шлагбаума встречает Безумного Воина и обманывает его. Тайком ночует в саду среди яблонь Душистой Наместницы. Не разговаривает – мычит – на шумном застолье в Бессменной Лужайке. У мальчика трисомия по 21-й хромосоме: асимметрично расположенные соски и выпяченный пупок. Липовая Осинушка задает ему три загадки, которые он – случайно – разгадывает. Бродит кругами, попадает в Деревню Светиков, видит Посильный Храм. Не мытарствуется – не осознает. Волосы у него мягкие, редкие, прямые. В конце концов он находит Зеркального Сивку и укрощает его, спасая от разорения всю эту местность.

* * *

Стерегающий платную автостоянку лютоволк укрылся под навесом и пустыми большими глазами глядит на пухнувшие лужи. Запахи сдобы и арбузов вмешиваются в отчаянный мокрый запах дождя, увлажняют пачку прайс-листов в руках: крепкие алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки, коктейли и миксы, безалкогольные напитки, газированные напитки, минеральные воды и квасы, технические жидкости, автоочистители, растворители, бытовые очистители, кинжал валирийской стали продырявил пакет и с приятным звуком царапает асфальт, пока я бегу под козырек подземного перехода, на влажной стене которого теснятся небрежно наклеенные объявления, зычно выкрикивают, перебивая друг друга: «ицца с дост», «анны», «вери». Красный замок Моссовета восстает над глыбой пышнотелого камня. Из боковой его двери, озираясь, вахтерша выносит незаконнорожденного сына заместителя главы. Оставаясь в седле боевого служебного «Форда» ее встречает полковник милиции, взявшийся воспитать ублюдка. «“Арти”, “ота для актив”», – заклинаяют полуоторванные объявления: «“Дам”, “иму”, “рочн”». Что-то шумно сдвигается под сверкающим в дождевых плетях панцирем асфальта. Вице-мэр протягивает руку и хватает с переговорного круглого стола бутылку «Аква минерале», не замечая белесоватую взвесь яда у донышка. Покорные голосу заряженных серебром пушек тучи рассеиваются. Из монстра с восьмицилиндровым двигателем по пояс вылезает человек с вышитым золотым львом на гербе и раздраженно кричит в сторону группы, одетой в пурпурные цвета дома Харконненов: «На чей счет Вы ковыряетесь в носу, сир?!» Фоном звучит темное многоголосие бумазеек: «“бель”, “идки”». Скрывая лицо плащом, инвалид на коляске срывает одни объявления и, сверяясь со сложной схемой, лепит

другие: «“дажа”, “азин”, “страция”, “страция”».

* * *

– Я нежный домашний цветок, – говорит она, выдавливая прыщ, – Я очень ранимая.

Между тем ночь прочно утверждается на улицах города.

– Меня все обижают, – жалуется она, обнимая ногами его плечи, – Люди так злы.

В это мгновение вязкая тина туч подсвечивается снизу блеклыми огнями.

– Он заставил меня, – вздыхает она, меняя позу, – Он проделывал со мной ужасные, гадкие вещи.

Через минуту бессмысленное черное небо проливается дробным дождем.

– Больше ни за что, – твердит она, поворачиваясь в фарфоровом гробу своих иллюзий.

Солнце не восходит никогда.

* * *

Полновесная тоска хлещет по щекам до слез

До первой крови невмоготу, потом становится проще

Щекотно? – удивилась, – Конечно, нет, ведь я тебя не люблю

И все ради крохотной горстки воображаемых предметов

Измазанного в черной земле весомого яблока

Вихляющейся за окном ярмарочной вывески

Ароматных спичек, от которых прикуривать «совсем другое дело»

Бывают еще, по счастью, – скажем, Герман, режиссер памятный, мим Полунин и, положим, Конюхов, путешественник дивно отважный

Так вот я и говорю, был такой, Иван Игоревичем, кажись, звали

Кратче Иван-Горевич, то есть почти что уже и царь

Зобастое, лобастое чудище, к тому ж и сам себе как-то не мил

По зодиакальному гороскопу некая нежить, по восточному – безделица, по друидам – невидаль

Гофмейстера позовет и наорет, наложниц видеть не может, виднейшего советника отметелил

А тот раз устроил дипломатический прием, и на ем собрались послы да консулы всех стран, какие только ни на есть, сам же, передумавши, в кабаке с антиглобалистами надрался

Войну хотя б с тоски не объявил – и то благодарствуйте

Отменил прогресс и всяческие поползновения, запретил силу тяжести, на силу же трения наложил подати такие несуразные, что она некоторым образом сама собою сошла на нет

Высочайшее дозволение с грамотою выдал только на медицину, земледелие и искусство составления фейерверков
Вот разве что ради него
Ради него согласен и по мордасам

* * *

«Городок наш небольшой» – начало почти идеальное. Есть в нем и краткость, и тихий голос автора. Сразу вводятся и местные обстоятельства: наляпаные вдоль кривой улочки косые двухэтажки, неровный спуск к прокисшей речке, царапанная надпись на придорожном камне: «Прямо пойдешь – разум потеряешь. 0,5 км». По откосам шатаются горожане, всякое фуфло и шелупонь, всякие «стриюцкие», никогда не говорящие в настоящем времени и о нем: «Ну я пошел». Пойдем и мы.

Следы изнурительной борьбы кругом: заборы в чирьях, листья гниют на подоконниках, мужчины пьяны, как четыреста кроликов, – такова тягость их сражения с финно-угорским прошлым. Устав от этой неизбежности, они засыпают по склонам. Трусцой к ним приближается чудная собака и, прокашлявшись, заводит песни обо всем бескрайнем: о степи, о небе, о скуке и тоске, и об изгибах широкой спины. Многожды перекрашенный памятник отряхивает прах и, скрипя чугунными костями, сползает с постамента. Сползем следом.

Земля то пахнет сразу всем, а то совсем ничем не пахнет; ею и живут эти женщины, всё копя и собирая, и никак не накапливая. Как древнейшие крестьяне, всё проедают и продают, ничего не оставляя: всё, из почвы взятое, в нее же и возвращается. Всё, некогда пугавшее до судорог, умасливается и помещается в красный уголок, но мягче от этого не становится, и оттуда сверкая недобрыми глазками. Страшно, страшно по ночам, когда мужчины напиваются, чтоб только не замечать и не оглядываться, а женщины, зарывшись в жаркие перины, стучат зубами и трясутся. В беззвездной кромешности над квелой речкой помахивает и плачет царица-мать: «Кабы я была девица. Кабы я была девица!».

ЛЕТО: ОГОНЬ

Десятки градусов Цельсия сухой ртутной грудой валяются через город. Облака попрятались, пылающий купол атмосферы душит улицы неподвижной подушкой огня. В нестерпимом его сиянии и в блеске помрачения раскаленными джаггернаутом катят автомобили, едко тлея покрывками. Одни только перегревшиеся кондиционеры и способны, прокачав сквозь мычащие свои потроха бездны безжизненного воздуха, нацедить из него несколько

морщинистых капель; тряся трубку над потрескавшимся языком, светлый от пыли бомж безуспешно пытается их выловить, но капли испаряются в полете. Мысли плавятся, едва появившись, и прохожий, путаясь, застывает, припоминая нужный поворот, а у подошв его десятки ботинок тихо погибают, по шею погруженные в сочащийся потной патокой асфальт.

Неверный воздух искажает всякую перспективу, и не получается заранее понять, в какую сторону продолжать идти: каждая картинка готова предать, обернуться миражом, полыхающим фантиком – пожалуй, и этот пейзаж только чудится, и только мерещится, как, угрожающе вращая пальцами пламени, дыбится октаэдр нового торгового комплекса (стиль «вампиры», восемь этажей, трехуровневая подземная стоянка, внутренний дворик с засыхающим садом), и прибывшие пожарные, притихнув, даже не пытаются его потушить. Скрываясь на теневой стороне улицы, пешеходы осторожно переступают через развалившихся осоловелых собак, сбивают кружащихся повсюду радужных мух – плутая в этой толчее, Олег пытается нагнать знакомую фигуру, бежит вперед, распахивая окружающих локтями и повиливая по-женски полными бедрами, пригибается на открытых солнечным мукам участках.

– Оля, постой, – задыхаясь, повторяет Олег про себя. – Погоди, – она, размытая призмой подымающегося от асфальта воздуха, то исчезает, то снова показывается, уже поближе, и Олег все переставляет ноги, шурша подошвами мимо безжизненной пустыни автостоянки, под облепленными гарью тополями, извивающимися под жалами лучевой болезни – Олег бешено трет чешущиеся от пота конечности и бежит, от жара едва не падая в обморок, и вот уже пальцами схватил Олины пальцы, и та обернулась – и обернулась чужой женщиной со странно пустым внутри лифчиком. «Простите,» – пробормотал Олег. Сухо чихая, мягкотелый автомобиль объехал его и пристроился под поникшими усиками троллейбуса, уныло притихнув в хвосте бесконечной гудящей пробки. Олег остановился посреди общего движения, с трудом переводя дыхание и болезненно сглатывая горячие комки кислорода.

Толпа бурунами запахов обтекает оба его плеча, неприятно тревожа горячую соленую рубашку. Превозмогая резь в глазах, он выглядывает в дымной пелене строения, силуэты, лица, пятки, подмышки – пот медленной лавой разъедает кожу, мерцающий кипящим маслом город покрывался волдырями пожарищ, смягченные провода, растягиваются под собственным весом и касаются почвы, сухо треща электричеством, трупы пенсионеров медленно дымились, опадая под солнечными ударами, и полчища

подышающих крыс штурмовали прохладную полость метрополитена – прикоснись к поручню – получишь ожог, и ожог разрастется, пожирая каждую клеточку, каждый переулок рассыпая в прах. Этот город в огне, в огне он и сгинет. И прочее, и прочее.

* * *

Упруго, бесшумно, внимательно, непредсказуемо... alertно, как сейчас говорят. Сторожко – говорили раньше. Это что касается походки.

В остальном – молитва и гантели. Потеть, как мышшь, и в душ.

И благородство иностранных языков – три раза в неделю в полупустой аудитории 1-го гуманитарного. Каждый день рабочий, бодрячком, будто «Дюраселл» проглотил.

Обязательно трахаться, хотя чего проще, она ж ясно какая, одна нога здесь, другая там, ну вы понимаете.

Сперва, правда, предлагает все по полочкам, как на эскалаторе: самовары в Тулу, инжир в Алжир, сахар из Сахары, шары из хрусталя. Вы прекрасны, дорогая.

«Был букет, остался веник» – в мусоропровод, где гниют, кряхтя, ничейные кошки.

А снаружи как раз такая шальная погода, что черви выбрасываются на асфальтовый берег.

Раздавить, пнуть забор со злости – троллейбус стеснительно развел рогами – а в комнате повесить детальную карту мира, и на ней отмечать передвижения бывших любовниц. Замуж за португальца, ужасно смешно.

Но всего верней другое – дослужиться до главного в МИДе, и тогда уж на официальном уровне выразить недоумение. «Восемнадцатой подругой вы мне станете едва ль.»

А умерев, превратиться в пошаговую стратегию с фэнтезийным геймплеем. Что-то вроде НОММ, пока они не скуксились.

Или Warlords, но – лучше, лучше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подруга подкинула проблем.

Сука.

Вечером звонит, короче, так и так, Юрок, приезжай.

Дороги все обледенели, так она на третьем кольце, возле Кутузовского и въехала в кого-то.

Приезжаю, зареванная стоит, сопли во весь снег.

Типа, ехала себе, ехала, а тут раз, не знаю, откуда эти взялись, еще и метель метет, не видно ни хера.

Ну, подхожу к ним, мол, че-как, проблемы какие.

– Будут тебе проблемы, – обещают.

Смотрю на них, на тачку ихнюю, и думаю, ну блин, точно, будут.

– Ну а че, – спрашиваю, – сколько вообще?

Называют цену.

– Ну, – говорю, – пацаны, вы даете. Мне стока и за год не найти.

Они, типа, мол, сам смотри. Хоть рылом рой, но чтоб через неделю было.

Ну вот ведь, сука, подкинула проблем – так подкинула.

Я, короче, туда-сюда, ну, нашел, тут занял, там прибрал, набрал, в общем.

Через неделю – подругу тоже взял, пускай рулит, но под присмотром, а то лед кругом, ну и дура, реально же, – через неделю поехали.

Приезжаем, как договорено, в Гончарный, ждем, а никого никак нету.

Ждали-ждали, замерзли, как Маугли, нет их и нет.

Ну, думаю, ну, нет – так и зашибись, ну и приехали домой.

Звонят, типа, охерел, чувак, тебе башню отвинтим, ты где был?

– Так приехал же, никого же не было! – удивляюсь.

Оказалось, короче, перепутали: они в Первый Гончарный приехали, а мы в соседнем, во Втором стояли.

Тут всегда так с этими переулками.

Я и говорю, какие проблемы, айда теперь точно, в Первом, хоть сегодня.

Нет уж, типа, злятся, теперь ты больше должен.

– Вы че, пацаны, – говорю, а сам уже эту суку убить думаю, что ли.

– Где я вам еще доставать буду? – хоть плачь, честное слово. – Хотите, типа, бабу забирайте, я-то что, сама въехала, сама пускай разбирается.

Ты за кого, говорят, нас держишь, чтоб мы с бабой разбирались, че нам делать с ней.

– Да уж че захотите там, то и делайте, – и подмигиваю, хоть по телефону и не видно.

Заржали, мол, на хуя сдалась нам твоя баба.

Застрелковались, в общем, по новой.

Устроил ей тоже, конечно, реально, куда рулила, когда смотрела, дура?! Не тот переулок!

Она, типа, в истерику, куда сказал – туда и рулила, и пепельницей вон засветила, на холоде ноет, а так терпимо.

В долги еще пришлось, побегал тоже, собрал кое-как, и то не все.

Ну вот, типа, стрела, встретились, то да се, передаю, только немного не хватает, говорю.

– Как так? – и в репу сразу. – Да ты точно охерел, чертило.

Встаю, говорю, че мне теперь, с протянутой рукой стоять?

– Хочешь, стой, – говорят, – или укради, нам-то хуя. А на той неделе остаток чтоб был. И с добавкой.

Вот уж, сука, подкинула проблем, по горло, конкретно.

Ну и вот, а я тогда уже с неделю как бомбить начал, по вечерам, после работы подвожу всяких, какие-никакие, а деньги.

И везу как раз каких-то пьяных, просто пиздец, а сам думаю, где вообще еще денег брать, и как отдавать потом.

Снег засыпает, еле тащимся, но приехали, в общем, куда собирались, Новокосино, вроде, остановились.

Смотрю, а один из них, из пьяных, ножичек показывает, вылезай, говорит.

Тут уж я ржать начинаю.

– Хули ты ржешь, – и в рыло опять.

Вылезаю, конечно, что делать-то, даже барсетку в бардачке оставил, а сам все ржу.

Потому что вспомнил, прикинь, собирались с ней поехать в отпуск.

В Африку, в Марокко.

Какое уж теперь Марокко, одна морока.

И целый час ржу, короче, прямо посреди дороги – снег, мороз, Новокосино это, а мне смешно, не могу с этим Марокко.

А вообще ты к нам лучше летом приезжай. У нас летом хорошо.

* * *

С самого октября, когда бедную Ксюшу из четвертого подъезда нашли задушенную скакалкой, во дворе оставалось спокойно, все передвигались едва не на цыпочках и говорили траурно, вполголоса. Он был тихо и безмятежно доволен этим. Всякий городской звук, любой человеческий крик невыносимо болезненно сотрясал – а дети слишком шумны, слишком визгливы, особенно девочки. В серых сумерках его тень черной простыней падала на автомобиль, который чересчур долго громыхал у окон, и через миг двигатель медленно замирал, остывая. Изгваздавшийся в солидоле хозяин проводил бессмысленные месяцы у навеки затихшего капота, ставил мужикам бесполезные поллитры – безрезультатно. Крупные кобели громко собачились и редко протягивали даже неделю, скулили и загибались на кухне, отказываясь выйти за дверь, и прижились во дворе одни только старушечьи карликовые шавки, вечно запуганные, едва слышно кашляющие, будто обглоданные

неведомой молью, и притом омерзительно телесные.

У него же тела нету, но стягиваясь, злоба полнит его и пробирается змеей, дымом, ремнями стягивая сердце шумной вещи: в пыль разносит дребезжащие от трамвая стекла, мнёт стальную дугу скрипучих качелей на площадке. А с октября, когда нашли Ксюшу, затих, подолгу заглядывался в холодеющее над крышами небо, замирал вместе с безмолвными деревьями, они утомленно роняли листья, он зарывался ко дну, сырому и грелкому, в закутке между гаражами, где месяц назад нашли Ксюшу из четвертого подъезда, и первый снег не таял на яблоках ее глаз.

Антонов застегнул верхнюю пуговицу пальто и натянул вязаные перчатки. – Нет, сперва к твоим, потом к моим, у них как раз Костика оставим – и к ребятам, чтобы к десяти хотя бы успеть... Не к самой же полуночи приезжать прямо, – Схватив в охапку сваленные на стуле покрывала, он подцепил скрученный коврик и повернулся к жене.

– Слушай, давай позже решим, – она сунула ему куда-то в пыльную кучу палку и открыла входную дверь. – Только смотри, тщательно выбей, а то еще раз пойдешь.

– Ладно, – кипа тряпок заслоняла, и Антонов спускался, нащупывая ступеньки при каждом шаге.

Дверь подъезда звякнула, по-зимнему ясный свет ударил в глаза. Приветствовав и поздравив смутно знакомую старушку – «И вас, как говорится, с праздником», – Антонов прошел к закутке между гаражей, тихому, ненужному, где чистый снег изумительно искрился и манил. Грудой свалив с плеча тряпье, он взял покрывало за углы и накинул на белый сугроб. Набросав ботинком, припорошил серые клетки, присел на корточки и стал выколачивать пыль. Он с наслаждением взмахивал палкой, следя, как вмятины возникают и замирают, и снова рассыпаются под следующим ударом. Частые веселые хлопки бились между стенами гаражей, мячиками резво вырывались вверх и разносились по всему двору, обрушивая крошечные шапочки с дрожащих тонких веток. Впиваясь в ткань, палка сминала, пачкала, портила снег, нестерпимо звучала, вторгаясь в кисельную дремоту, пока злоба снова не забила под сугробом, не стала быстро копиться во всеильный густой комок силы.

Покрывало судорожно задергалось, и Антонов замер, встряхивая головой. Ничего не происходило, и он снова принялся колотить, когда оно стало вздыматься, будто, накрытая им, тянулась из земли огромная поганка. Споро поднявшись во весь рост, она, оно, он навис над Антоновым и вдруг резко скрутился в жгут и кинулся, стягивая горло, ломая хрящи гортани. Сделав

несколько глотков крови, тот упал, биясь и выворачиваясь на снегу. Ткань все сильнее, все яростнее сдавливала шею, и через полминуты Антонов затих. Мелко семеня, к нему подбежала костлявая старушечья собачка. Молча она обнюхала лицо и с опаской впиалась в его быстро синеющие губы.

* * *

В здоровом теле здоровый дух и свежие полупрозрачные легкие
Прилежные почки, крепкие ягодицы
На здоровом теле внушительный йух
Под здоровым телом и дева здоровая: Юрок, у меня нет осеннего пальто
Мозг не находит ни единого здорового варианта
Незаметно сдавливает чистый язык зубами
Я тоже не видела этого фильма
Юрок, нам надо разобраться в нас самих
У здорового тела закатываются темные глаза
И оба одновременно: Я хочу, чтобы ты понял, Юрок, Юрок, Юрок
Тело содрогается, теряя сперму безвозвратно
Безвозвратно

* * *

Состав поезда известен – одна компания агрессивно пьющая и две пьющие тайком, скрывающая ребенка женщина, запах курицы с апельсинами, звяканье чайных ложек, гибельный смрад нерабочего тамбура, полупрозрачные топазные окна. Телефон едва нащупывает ненадежный пульс сети: абонент не отвечает или временно, или навсегда.

Если прямо от Казанского, через Выхино и Люберцы, до 49-го километра не доезжая налево, то лучше приготовить респиратор: сюда сливается говно из толстых труб огромного, небывалого города. Окрестных пара деревень затоплена по крыши, лишь одна на холме спаслась. Нет электричества и путей к Большой Земле, только мост железной дороги проносится над фекальными заливами. Третье поколение островитян другую жизнь уже высмеивают, плавают на подгнивших плотках, растяг репу в ведрах, жарят одуревших мух, изредка обирают электрички, нападают внезапно и жестоко. Молятся понятно кому, в ритуальных целях используя хризолитовую вышку сотовой связи.

Состав поезда известен, а проводница попалась ведьма: колтун волос, рыжих и редких, неряшливая форма, квадратная обувь и веник в пыльных привидениях. Уж и зыркала, и ворчала, и кашляла, и материлась. И – то ли в чай чего подсыпала, но и от

пива к полуночи какая-то чертовщина вышла. Телефон совсем замаялся, голова разбухла, налилась харя полукозла, непонятно кого, надулся фаллос: я так ее хотел, колдунью злую! Но ведьма насела, велела нести в вагон-ресторан, через белое безмолвие простыней в плацкарте, через залитые полной луной коридоры и сцепки, в сердцевину, вглубь, туда, где ревизоры с комендантом сойдутся в пляске бешеной и злой. Тогда из-под кинжала с адамантом прольется кровь и станет вновь золой.

Чуть доковыляв до верхней полки, чудом прозвонился, замигал:
– Алло, ты пропадаешь! – еле разборчивый голос. – Где ты? Ты пропадаешь!

Да, я пропадаю, пропадаю.

* * *

Много дней провел прикованным к постели, и свирепая моль с дальних антресолей еженощно терзала печень и все внутренности. Натужно желтевший фонарь вертелся на проводе, плевками света отгонял дурную тень в душный, пропахший лавандой угол. Ссыпавшиеся молочные зубы припрятывал от феи в кулачке, но к утру их выкрадывали.

Тогда мать в изнеможении опускалась в голову, долго распутывала вспотевшую гриву и пересказывала сон. Видела собственную бабушку: будто та в спешке развешивает мох, указывая дорогу, по которой ушли взрослые, но они с покойным братом этого не замечают и теряются. Вычесывала из головы следы мелких ночных гостей, а под окаменелым брюхом шкафа переругивались, деля припрятанные разноцветные таблетки: по пяти желтых за одну бурую и по три желтых за тонкую капсулу.

На последние сутки жар спал, нашелся зуб, и почти все таблетки выкатил шваброй. Шевелюру остригли, и мать ушла к другому: только уличные фонари и некоторые старые бабушки живут не для себя.

* * *

Машенька не спит – нет, уже спит, и уже снятся ей три одноглазые старухи, жарящие собаку на рябиновом вертеле. «Довольно этой Москвы», – думает Машенька и отправляется к бабушке: вдох – метро – электричка – автобус – выдох – и новый вдох, теперь уже обжигающе снежной, настоящей заМКАДовской погоды. Машенька проходит под лестницей, стучится в окошко. Прежде чем пропустить ее внутрь, бабушка спрашивает, не течет ли из нее грязная кровь. Нет, не течет.

У бабушки живет серенький козлик, злобная скотина с тупым сомнамбулическим взглядом. Бабушка козлика очень не любит,

собирается казнить, а Машенька боится, потому что не знает, какая дурь придет в его твердую голову в следующий момент. Еще у бабушки живут два гуся, один серый, а другой белый, хотя от грязи и от старости скорей желто-сизый.

Наутро гуси куда-то исчезают, как сквозь землю. Бабушка берет палку, берет Машеньку и отправляется на поиски. По пути они встречают соседку, с пустыми ведрами идущую к колодцу. «Чур меня», – крестит бабушка рот. – «Не чересчур ли?» – мысленно крутит Машенька пальцем у виска. Чернолицые местные мужики толпятся у магазина. Они божатся, что гусей не видали и что вообще неясно, куда те могли деться по снегу. Они косятся в сторону соседней деревни, где обосновался нечистый цыганский табор.

У бабушки есть дела поважнее, и она сурово отправляет Машеньку к цыганам, напоследок оградительно прикоснувшись к ней и косо перекрестив спину. К вечеру Машенька не спеша доходит до соседней деревни, повсюду выглядывая двух гусей, одного серого, а другого – белого. По улице ее преследуют грязные до тошноты дети, они визгливо кричат ей вслед нечто неразличимо гадкое и швыряют снежки. Взрослые снисходительно наблюдают за травлей. Сердце у Машеньки бешено колотится, она чихает от страха и ни с чем отправляется восвояси.

Уже стемнело, замело; дорога темна и неясна. Машенька бредет, еле волоча ноги. Она всматривается вперед, но никак не может различить ни дыма, ни огней жилья. Ночью бабушка встречает ее на дороге, полуживую от холода, и едва не несет домой. Раздев донага и растерев Машеньку спиртом, бабушка дает ей выпить кружку горячего и горчайшего отвара: в ее деревне чем горше лекарство, тем оно действенней. Она запрещает Машеньке рассказывать о своих злоключениях, пока не наступит утро.

У бабушки строго различается то, что можно, и то, чего нельзя. Машенька считает, что можно все, если хочется, лишь бы не убивать, не воровать и всякое такое. Может, поэтому бабушке мир предстает чередой гармоничных двойственных отношений, какими бы они ни были, а Машеньке все кажется набором разобщенных одиноких случайностей. Машенька смотрит на оконное стекло, все белое от налипшего снега, и бормочет: «Куда-куда-куда? Куда нам дальше плыть?». Ее тотем – курица.

БЛЮЗ

Рубаха черная х/б, кофта спортивная синего цвета на пластмассовой молнии, с надписью «Adidas», носки шерстяные светлые, обувь отсутствует. Увечья, несовместимые с жизнью: вся

душа нараспашку всем своим многоцветным фаршем. Кто ты, братец, опередивший меня на сколько-то лет? Впрочем, знаю, братец, тебя звали Сережей, или Федором, братец, или Андреем, или даже как меня. В декабре Москва особенно нетерпима, братец, но ведь это был Питер, глухая ночь, и все мосты в разводе.

Смерть без причины, братец, – признак дурачины, так что вот и он идет Сатан-Клаус. На нем «аляска» с кровавым подбоем, братец, на нем огненная накладная борода. В одной руке он держит череп оленя, братец, с горящими глазами, а в другой сжимает подарочки. Поодаль от него стоит старшая внучка Азора, братец, и на левом бедре ее вытатуирована роза, окутанная грубым шарфом лагерной колючей проволоки. Сатан-Клаус подошел, братец, и, никуда не глядя, погрузил рукавицу под ребра, и вырвал, братец, всю в ошметках плоти, жизненно важную железку внутренней секреции.

Рубаха черная х/б, кофта спортивная синего цвета на пластмассовой молнии, с надписью «Adidas», носки шерстяные светлые, обувь отсутствует. Такие увечья несовместимы с жизнью, братец: вся душа нараспашку всем своим многоцветным фаршем. Кто ты, опередивший меня на сколько-то лет?

* * *

Как, помнишь, зимой ты в больнице лежала,

Тебе приносил апельсины, разные куриные корочки в фольге, и почитать тоже:

Оконные рамы заклеили желтой бумагой, но все равно сквозило, и ты уронила курицу на раскрытую книжку,

Страница стала прозрачной, через пятно можно запросто следующую читать,

Ты тогда сказала губами, – Прости,

Ну а вчера случайно раскрыл

Ту же самую книжку

На той же странице

Прямо,

Вот как это – тебя уже нет ни в больнице, ни вообще здесь, а жирное пятно вот, и книжка,

И что было бы, если б я ее вовремя потерял, или что-то другое с ней случилось,

Может, все по-другому,

Господи, надо было сразу ее выбросить

* * *

«Несомной»; декабрьской ночью в подземном переходе на Чкаловской свет судорожно извивается и подмаргивает на изможденных прыщами лицах тинэйджеров, те же горланят бессмыс-

леннейшие из песен.

Ты вчера ходила на «Агату Кристи» –
Я пинал по скверу золотые листья!

Впрочем, факт гол и зол ослепительно: ты не. Со. Мной. Какие, в жопу, листья золотые, когда такой мороз задувает. Я поеду в гости к другу, я утешусь кетамином. Кетаминовых вселенных стану я Вениамином.

Под леденящим взглядом метели пересекаю мост, на котором по отдельности помирают двое, человек и собака. Он изогнут эмбрионом, она воет баритоном. В асфальта глядя грязную дыру, мычит луне свое «лу-лу».

Ты. Несомной. Если бы не запах этот, лег бы рядом с человеком. Spoon-like: изо всех сил прижался к нему, и утром пускай крюками отволакивают куда там в таких случаях.

Труп собаки всю зиму пролежал на льду, не тронут ни людьми, ни гниением. Душа вмерзла в шерсть, и только в марте она исчезла – быстрее, чем растаял снег, – раздулось пузырем тело, и дух отлетел.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Колебания сознания: кажется, здесь я уже был, то ли просто все жестяные коробки похожи друг на друга. Атомы конденсирующейся влаги, податливые атомы дерматина, ледяные атомы поручней складываются в молекулы наземного общественного транспорта с рогами. Молекулы крошек на сиденье, молекулы сухих ладоней. Науки питают юношей, зрелому же мужу пристали занятия более достойные – может, и не герметические знания, но миф. Элементали троллейбуса поработают духов асфальта, те протестующе бугрятся, но в сумерках их пожирают одичавшие собаки. Призрак кондуктора с отсутствующим видом просачивается между закутанными пассажирами. Тут, как и во всем, во всем, важно идти до самого конца, до края и за край, как и во всем, пускай миф станет чем-то большим, нежели просто голова. Только тогда, только тогда его единство и полиморфизм, его нерасчлененность и символичность станут не только верным, но единственно верным взглядом на вещи. В два часа пополудни, а то и ранее, подземный переход превращается в ловушку. Под мечущимся светом люминесцентных ламп на крапленом инеем мраморе извивается бомж-минотавр: каждую ночь в новом лабиринте.